

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

ВЕТРОМ

И ПЕПЛОМ





ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ
ВЕТРОМ
И ПЕПЛОМ

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ

«СОВРЕМЕНИК»
МОСКВА 1989

ББК 84Р7
Ч-96

Чухонцев О. Г.

**Ветром и пеплом: Стихотворения и поэмы.— М.:
Ч-96 Современник, 1989.— 126 с.**

ISBN 5-270-00560-3

Тема стихотворений и поэм, вошедших в новую книгу Олега Чухонцева — человек в истории, прежде всего — в трагической русской истории последних десятилетий.

«Ветром и пеплом» — третья книга поэта.

Ч 4702010200-100 169-89
М106[03]-89

ББК 84Р7

ISBN 5-270-00560-3

© Издательство «Современник», 1989



Вдруг — в темноте — звук,
тонкий, как волосок.
Что там? скрипит сук?
Или свербит сверчок?

Стон ли какой? бред?
или ночной пилот?
Спать бы, а сна нет,
звон из ушей нейдет.

Словно стоит Тот,
с сабелькой у виска,
Кто своего ждет
часа или должка.

Мать стоит у окна,
мыло шипит в тазу.
Спать бы, да нет сна,
нет ни в одном глазу.

Вечер, семья, дом,
на волоске — свет.
Воздух глотать ртом —
злее обиды нет.

Правда ль Твоя, ложь,
Господи, нет сил
слышать над ухом дрожь,
гул комариных крыл!..



Сразу споткнулся о память, едва вошел
со свету в сени, споткнулся на ровном месте:
видно, недавно перестелили пол,
вот и споткнулся, а думал, сказать по чести,
что уже все! что и память постерлась так,
что даже сердце не дрогнет. Но дрогнул шаг.

Что вы хотите, минуло столько лет,
что и последний след потерять пора бы
и на усушку-утруску списать сюжет
о возвращении блудного сына, дабы
сын осознал неизбежное наконец,
что он, по крайней мере, и сам отец.

Вот он, твой дом, согретый сырým теплом,
шведка-голландка, ее изразцы остыли,
стоя бок о бок теперь с паровым котлом,
что она здесь: обломок преданья или
напоминанье о том, что и самый дух
с дымом уходит, если очаг потух?

Двор и гараж при конюшне, а дальше, там,
между панельных дылд и хрущоб, тяснятся
остовы яблонь и парниковых рам,
как за кормильцем хворые домочадцы
на сундучке своем: не серчай, племяш,
то же хозяйство, словом, что и пейзаж.

Много прочел я книг и прошел дорог,
много стальной и медной попил водицы,
ну а теперь хотел бы на свой порог,
к притолоке с зарубками прислониться,
да об одном забыл в суете сует:
этого места больше на свете нет.

Это огонь невидимый все пожрал,
прахом развеял видимое глазами,
только его языки и его оскал
знают, какие печи гудят под нами,
голая пустошь всюду, она же сад,
тысячелетние тени во мгле дрожат.

Ветром провеять, что ли, и пеплом пасть,
ветром и пеплом, в мир отлетая лучший?
Вольному воля — чудищу облу в пасть
или же к чреслам Отца головой заблудшей!
Что в этой жизни горше всего, дружок?
Хлеб преломить да выпить на посошок.

Путь ли бездомный, быт ли наш кочевой,
каждый в России — калика переходий.
Вот и хочу я вырыть колодец свой,
чтоб человек какой или птенчик Божий
ковшик нашли с водою, а нет, ну что ж,
есть еще Млечный Путь и Небесный Ковш.



Не к этой свободе тянусь,
с годами люблю все сильнее
не родину эту, не Русь,
не хмурое небо над нею,—

и это, конечно!— но, взгляд
бросая на наши равнины,
взыскуешь невидимый град
из этой духовной чужбины

и где-нибудь на полпути
к Изборску, да хоть и к Дамаску,
почувствуешь с дрожью в груди
блаженную нищую ласку

и станешь в последней тоске,
свой пепел сжимая в руке.

НА ТАШКЕНТСКОЙ БОЙНЕ

Баллада

На ташкентской бойне заперты ворота.
На ташкентской бойне предстоит работа.
Топчутся и блеют овцы да бараны:
тьнь под животами, начинать пора бы.
Курдюки отвисли, и рога оплыли,
над рогами — солнце, серое от пыли.
На пороге ада и в преддверье рая
топчутся и блеют, недоумевая.

Это позже — хрипы, понос да блевота,
уж такая, видно, у козлов работа:
в жестяное лоно мясокомбината
на хвосте приводят преданное стадо.
Но пути прогресса неисповедимы:
мясо, шерсть и кожа — все необходимо,
в знак особой чести, поздно или рано,
и козел дождется участи барана.

А пока на бойне скрипнули ворота.
На ташкентской бойне началась работа.
Вожаки ступают с деловитой ленью:
шаг по направленью, два по направленью,
а уже за ними, чтобы не отстала,
шаг по направленью делает отара,
шаг по направленью, два по направленью,
три по направленью к светопреставленью...

А когда на бойне кончилась работа,
на ночь запираясь, скрипнули ворота.
Кто-то в прозодежде со следами крови
подымал на вилы полкопны коровьи,
и трусил вожатым, собранным по стойлам,
и кормил их сеном, и поил их пойлом,
а особо умных в знак особой чести —
тех кормили хлебом, гладили по шерсти...

КАТ В САПОГАХ

По Малой Никитской в отечных снегах
мурлыча расхаживл кат в сапогах.

Пенсне на носу и на пальце рубин,
и двое в шинелях как тени за ним.

От черных застолий краснели белки,
он шел и катал за щекой желваки.

Он шел, а в решетках шумела весна,
и песню жевал: на-ни-на, на-ни-на.

И улица пахла, как свежий чанах,
и каждая ветка чирикала: вах!

И каждая шубка на рыбьем меху
шуршала в ушах, отдаваясь в паху.

Ай, рыжая челка! Духами Манон
пахнёт комсомолка — и вроде влюблен.

Актерки, танцорки, строптивный народ,
хотите — на выход, хотите — в расход.

Как зябко, однако, в безлюдной Москве,
но горный мотивчик журчит в голове.

Какая эпоха! Какая страна!
И сердце поет: на-ни-на, на-ни-на...

РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА

Над Кремлевской стеной сыпал снег слюдяной и кремнисто мерцал на брусчатке.
По кремнистым торцам грохотали войска, репетируя скорый парад.
Тягачи на катках и орудья в чехлах проходили в походном порядке.
Я поодаль следил, как на траках катил многотонный стальной агрегат:
он как ящер ступал, и ходила земля от его гусеничного хода,
и казалось, народ только часа и ждет, чтобы чохом отправиться в ад.

О, спектакль даровой, чьей еще головой ты заплатишь за щедрость народа?
Что стратегам твоим европейский расчет и лишенная раздолья размах,
если рвется с цепей на разгулье полей азиатская наша свобода!
Кто играет тобой, современный разбой? Неужели один только Страх?
Или мстью веков и холуй и герой перемелются в пушечном фарше?
Не на Страшный ли суд все идут и идут тягачи и орудья в чехлах?

От сарматских времен на один полигон громыхают колеса на марше.
Нет ни лиц, ни имен. Где друзья? Где враги? С кем ты сам, соглядатай ночной?
Эка дьявольский труд — все идут и идут и проходят все дальше и дальше.
Вот и рокот пропал в полумночный провал. Тишина над Кремлевской стеной.
Тишина-то!.. Такая нашла тишина!.. Эхо слышно из Замоскворечья.
То ли сердце стучит, то ли ветер горчит, то ли в воздухе пахнет войной.

Что ж, рассудит затвор затянувшийся спор? Нет, что мне до чужого наречья!
Я люблю свою родину, но только так, как безрукий, слепой инвалид.
О, родная страна, твоя слава темна! Дай хоть слово сказать человеку.

Видит Бог, до сих пор твой имперский позор у варшавских предместий смердит.
Что ж теперь? До каких языков и столиц довлечется хромая громада?
Что от бранных щедрот до потомства дойдет? Неужели один только Стыд!

Ну да что о пустом! Разочтемся потом. А пока от Охотного Ряда
задувает метель, не сутулься впотьмах и прохожих гуляк не смущай.
Век отбился от рук.— Что насупился, друг? Все прекрасно, чего еще надо.
— Ничего,— говорю. Не спеша прикурю.— Ничего.— До свиданья.— Прощай!



Ожесточенность и хандра.
Из дела выбился,
недорасчухался с утра
или не выпался.

И ноги вкривь, и мысли вкось,
кривится улица.
Хлебнуть рассолу бы, авось
все образуется.

Убожеств волчий аппетит,
статеек вырезки.
Глаза б не видели — тошнит
от каждой вывески.

Над этажами по табло
бегут известия.
И это — чье-то ремесло,
растет же, бестия.

Все строят инженеры душ
свои курятники.
Сидят на яйцах вроде клуш
дружки-стервятники.

Вон тот тверезый, как бревно,
а этот пьяница.
А в общем-то — не все ль равно,
какая разница!

Какой тут, к дьяволу, поэт
тоскою вызвонит:
— Уюта нет? Покоя нет?—
А если — жизни нет!

Да что, гори она огнем!
За синь звездастую —
рассолу бы — и рукавом,
и — благодарствую!

ОБЩИЕ СТЕНЫ

Говорили о новом журнале,
пили водку и ели шашлык.
Так кричали, что в стену стучали:
— Тише! Тише!— И сызнова крик.

Что за радость и риск в разговорах,
не соскучишься в этой стране!
И опять: что за стук? что за шорох?
То ли гвоздь, то ли ухо в стене.

Да и впрямь тугоухим медведем
надо быть, чтоб не бить кулаком,
если крики:— Уедем! Уедем!—
а за окнами мол с маяком.

И когда, как всегда, поллитровки
не хватило на спор мировой,
— Эй, сосед?— а сосед на веревке,
на веревке висит бельевой...

Ужас! И языки проглотили...
Был — и нет... И костыль вколотил
в карту мира. Все счета сводили,
все считали — а он заплатил.

Так и выбыл. В миры ли иные,
в пустоту ли, кто толком поймет.
Лишь часы остывают ручные,
отмеряя бессмысленный счет...

И как будто слегка потянуло
сквозняком — и качнувшийся пол
отголоском соленого гула
проскрипел: человек отошел.

А, да что там — Китай ли, Корея,
Черноморье? Глухая вода —
эта жизнь! Позвоните скорее
в морг — в милицию — в рай — в никуда —

все равно! Ведь повязаны все мы
и по чести воздастся и нам,
ибо вот они, общие стены:
стукнешь здесь, а аукнется там!

И прости! И попутного форта!
Сам ты в темные воды отплыл.
И зияет двухдулая карта
со свищом где-то возле Курил...

ГОЛОС ЗА СНИМКОМ

Когда у роковой черты
я обживал углы подвалов,
и зону вечной мерзлоты,
и малярийный зной каналов,

когда, угрюмый нежилец,
я только верю и выжил
и в мир вернулся наконец —
я словом погребенных вышел.

Я — прах, и если говорю,
то говорю по праву мертвых,
на мясо списанных зверью,
в цементный порошок истертых.

Я — пыль заводов и полей,
просеянная сквозь решета
статей, этапов, лагерей,
бараков и могил без счета.

Я — персть земли, и если персть
глаза неплакавшие колет,
не говорите: это месть,
скажите: мертвые глаголют!

И не страшайте! Что конвой,
кому сама земля охрана!
Я — вдох один, но выдох мой —
от Соловков до Магадана.

ДВОЙНИК

...А если это символ, то чего?

В тени платана, рядом с «Ореандой», сидел он у киоска и курил (не знаю что, наверно, как обычно, «Герцеговину Флор». Или «Памир»). Цвели сады, и острый запах шторма стоял, не просыхая, на бульваре, и свежие газеты тяжелели от йодистых паров и новостей. Он докурил и развернул газету так широко, что сделался невидим, лишь сапоги с защитною фуражкой обрамили невидимый портрет. Но по рукам, по напряженной позе я с ясностью увидел, что он думал и даже что он думал (мысль была отчетлива, вещественна, подробна и зрима так, как если бы он был индуктором, а я реципиентом, и каждый оттиск на листе сознания был впечатляющ): баржи затопить цыплят разделать и поставить в уксус разбить оппортунистов из костей и головы бараньей сделать хаши сактировать любимчика купить цицматы и лаваш устроить чистку напротив бани выселить татар

из Крыма надоели Дон и Волгу
соединить каналом настоять
к женитьбе сына чачу на тархуне
Венеру перед зеркалом продать
поднос пустить по кругу по подаркам
и угощать нацелить микроскоп
на рисовое зернышко отправить
на Темзу бочку паюсной икры
засохший гуталин подскипидарить
примерить в мавзолее саркофаг
с мощами Геловани как нажгутся
так языки развяжут приказать
Лаврентию представить докладную
о языке Марр против Маркса вырвать
кого-чего кому-чему плевать
на чачапури главное цицматы
и чача больше чачи дать отпор
троцкистам вейсманистам морганистам
и раком поползут как луноход
на четвереньки встав от поясницы
достать змеиный яд и растирать
и растирать и чистить чистить чистить
до солнечного глянца — он сложил
газету и зачем-то огляделся,
и мы глазами повстречались... (Так
на парагипнотическом сеансе
посылкой встречной размыкают цепь.)
Он усмехнулся и усы пригладил.
И злость меня взяла — я подошел
и, выставив башмак, сказал:— Почистить!—
Он как-то странно на меня взглянул,
и молча поднял перст, и черным ногтем
мне показал: «Закр^ыто на обед».

Каких нам знамений не посылает
судьба, а мы и явно не ждем!

Шибало море, высекая искры,
и вспыхивала радуга то здесь,
то там на берегу, удар — и брызги!
...Но для чего же этот маскарад?
Тщеславье? Вряд ли. Мелкое позерство?
Едва ли. Это сходство, думал я,
не может быть случайностью. А если
намек, и очевидный? но на что?

— Волна! — я услышал у парапета
и загадал. И ухнул водный столб!
Я пробежал, а парочку накрыло.
Ну и прекрасно, вот он и ответ.

Я должен быть лирическим поэтом,
а чистильщик пусть драит башмаки
или сдирает кожу с мирных граждан,
а двое любят. Каждому свое!

Как непосильно быть самим собой.
И он, и я — мы, в сущности, в подполье,
но ведь нельзя же лепестками внутрь
цвести — или плоды носить в бутоне!
Как непосильно жить. Мы двойники
убийц и жертв. Но мы живем. Кого же
в тени платана тень маньяка ждет
и шевелит знакомыми усами?
Не все ль равно, молчи. И ты был с ним?..
И я, и он — и море нам свидетель.
Ну что ж, еще волна, еще удар —
и радуга соленая, и брызги!..

ЧЕРЕЗ ДВОР

Как медленно падает лифт.
Как сердце стучит односложно.
И выдох так долог, и гулок
тупик, сжатый мертвым узлом.
Так мертвенно падает лист,
что взгляд отвести невозможно,
и весь Угловой переулок
повернут под острым углом.

А день так и метит в висок.
А темь так и дышит в затылок.
И вертится век, как в воронке
оплошно застрявший волчок.
И смотрит лягавый глазок
из подслеповатых Бутырок.
И зло озирает потемки
налившийся кровью зрачок.

А мне только свет что окно,
да больно оно ненадежно.
А мне, как в пословице, хватит
не поле, а двор перейти.
Пусть сбудется все, что должно,
но в первую руку — что должно.
И если нелегкая хватит,
ну что же, на том и прости.

Прости мне, родная страна,
за то, что ты так ненавистна.
Прости мне, родная чужбина,
за то, что прикушен язык.
Покуда подлы времена,
я твой поперечник, отчизна.
И все же — прости, если мимо
пройду, приподняв воротник.

Не прячусь, да ночь холодна.
Не трушу, да время опасно.
Вон ясени, как полудурки,
по осени веют зимой.
А время — на все времена —
опасно и все же — прекрасно!
А ночь в Угловом переулке
такая — ах, Боже Ты мой!



ОДНОФАМИЛЕЦ

(Городская история)

Чул пенье! я туда скорей...

Н. Некрасов

Острил, смеялся, намекал
на тонкий смысл под видом фальши,
а сам, как птица, отвлекал
от своего гнезда все дальше;
чтоб посторонний не просек,
какое подозренье прятал,
все дальше, дальше, скок да скок,
по древу мысленному прядал,
в такие дебри заводил
простой, но верною приманкой,
что где там след!— а сам следил
за откровеньями под банкой.

Была компания пьяна,
к тому ж, друг дружку ухайдакав,
как чушки рвали имена:
Бердяев! Розанов! Булгаков!
при этом пусть не короли,
но кумы королю и сами:
тот из князей, тот из ИМЛИ,
а та — с зелеными глазами,
и, в общем, не ахти гостей,
но шуму, дыму, фанаберий —
как в клубе, даром без костей
язык, размоченный в фужере.

Из-за случайного стола
к столу случайному нагрывув,
вся эта публика была
как бы соавтором романов,
идей, с расчетом на успех,
и веяний, сродни обрядам.
Так вот, пока морочил всех
один, прочесывая взглядом,
другой, со всеми заодно,
вполуха слушал ахинею
и молча подливал вино
хозяйке, сидя рядом с нею.
Их руки, шаря под столом,
нашли друг друга и томились,
а мысли, мысли — соколом
и мелкой пташкой проносились.

Вот шашни в лицах: тесный круг
и пресловутый треугольник:
он, и она, и чей-то друг,
и кто еще?— и случай-сводник;
и круг беседы, не один,
а кратно действующим лицам,
но эту дверь открыл Бахтин,
и мы не будем зря ломиться,
тем более что вряд ли речь
уликой служит очевидной,
напротив, чтоб верней отвлечь,
чем горячей она, тем скрытней;
и под шумок пристрелка глаз,
подкопы, шпильки, каламбуры
и драма, корчащая фарс,
и что еще?— и шуры-муры.
Что о чужих гадать, когда
и близкая душа — потемки.
О том, о сем, туда-сюда,

амуры, вермут из соломки.
Ну сколько можно блефовать!
И вот, расставив стулья шире
и свет убавив, танцевать
пошли, блуждая по квартире;
на ностальгической волне —
моя любовь не струйка дыма —
поплыли тени по стене
под дуновение интима,
и запах мускусных гвоздик,
нет, купины неопалимой
провеял в комнатах на миг
и все смешал, непостижимый.

Она была, конечно, с ним,
то есть с другим, и в полумраке
их танец был неотличим
от забытья. Шло дело к драке,
а то и хуже. Муж взял нож
и повертел в руках бесцельно.
Бифштекс давно остыл. Ну что ж,
сказал он, это не смертельно.
Он потянулся к коньяку
и рукавом попал в консервы.
А, черт, везет же дураку! —
он встал, не выдержали нервы,
и, хлопнув дверью, в туалет
вошел, и повернул задвижку,
и долго — чем вам не сюжет? —
не выходил... Читал ли книжку,
или курил, потупя взор
и пепла длинного не сдунув,
поскольку с некоторых пор
страдал болезнью тугодумов,
или ревниво распалял
воображение дурное,

или, напротив, слишком вял
был образ, как и остальное,
во всяком случае, пока
он пропадал, о нем забыли,
и кто-то пенку с молока
уже снимал, но тут завыли
и вправду черти; с кондачка
решил он: что ему Гекуба!
и под проточный свист бачка
он вышел и сказал:

— Чайку бы...

А чай уже стоял. Вино
еще стояло недопито.
Но кто-то крикнул:— В Дом кино!—
с энтузиазмом неопита,
и сразу сделался галдеж
у вешалки (была суббота),
жена спросила:— Ты идешь?—
и муж ответил:— Неохота.—
Потом возникла толчея
у двери (завтра воскресенье).
— Но ты не против, если я...
— Твои дела!— от разрешенья
он сам, казалось, был смущен
и медлил, все мы духом слабы,
да и что толку, думал он,
не бить же стекло из-за бабы.
Вот лифт за дверью гроыхнул,
и дверь ударила в парадном,
и он, дослушивая гул,
остался в полумраке смрадном.
Потом настигла тишина.
Он подошел к окну и вживе
увидел, стоя у окна,
как бы в обратной перспективе,

коробки гаражей, продмаг
и ящики кривой колонной,
и надо всем небесный знак,
райисполкомом заземленный —
звезду, но странную звезду:
Земле и Небу в назиданье
она горела на виду
на противоположном зданье
по случаю октябрьских дней
и чьи-то окна заслоняла,
но что от этого? темней
или светлей ему не стало,
он даже улыбнулся вдруг
ей как развенчанному чуду
и, пососав пустой мундштук,
поплелся убирать посуду.

Ты неудачник, сам себе
сказал он, вытирая блюдца,
тарелки, и в чужой судьбе
ты сам погряз. Но оглянуться,
но до конца понять не мог,
что так застряло в нем. Обрывки
каких-то фраз и поз. Намек
на что? Окурки и опивки.
Окаменевший винегрет
и баритон из-под иголки:
— Я возвращаю ваш портрет,—
и шпильки снова, и заколки —
все, все смешалось, став колом,
и молотого вздора вроде
внезапно пролетало в нем,
стуча как в мусоропроводе.

Потом он, лампу потушив,
лежал с открытыми глазами

почти недвижим, жив — не жив,
и забывался... Полосами
свет упирался в потолок,
дрожал, съезжал по скользким крышам,
как одеяло, в лужах мок.

И он, как этот свет, унижен,
лежал пластом... Он вспоминал
его очки и позу в кресле,
их танец, хоть в мужской журнал.
Но ты не против, если... Если?!
О этот роковой вопрос!
Герой, к несчастью, был филолог
и эту фразу произнес
как приговор:— Но если?..— Долог
был смысл ее... С трудом дыша,
лежал он, все внутри горело,
все восставало, и душа
изнемогла в себе. И тело.
Он встал и ощупью открыл
дверь в ванную и долго, дольше,
чем в первый раз, не выходил...

Давным-давно когда-то, в Орше,
он видел в парке на пруду
солдата, тот катался в лодке
вдоль берега и на ходу
кричал девчонкам:— Эй, красотки,
а ну садись по одному!—
но воротили девки лица,
спеша в подлиственную тьму,
а так хотелось прокатиться,
и парень насажал ребят,
откуда ни возьмись — гармошка,
и развернул меха солдат:
— Залетка, выгляни в окошко,
иль ты меня не узнаешь?..

К стеклу прижавшись лбом горящим,
стоял он, подавляя дрожь,
у пустоты... Вот что обрящем,
мелькнуло, и на двойника
взглянул он отстраненным взглядом,
поскольку свет от ночника
был за спиной. Стоявший рядом,
но в пустоте небытия,
он был, однако же, реальней
и — воля, Господи, Твоя! —
неотвратимей...

Знак астральный,
пятиконечная звезда
погасла. Он увидел вчуже,
как он шагнет сейчас туда,
шагнет и захлебнется в луже,
и — точка. Он отпрянул враз.
Мутило, и, опустошенный,
разбитый — только не сейчас! —
он лег и как завесой сонной
накрылся с головой...

Сперва
по вяжущей трясине шел он
бежал ворочая едва
ногами и в мозгу тяжелом
еще свербило он не тот
и он бежал и задыхался
от бега в духоте болот
не мог взлететь но оторвался
и полетел поплыл поплыл
в иное поле тяготенья
все выше на пределе сил
уже не чая пробужденья
все дальше звездною рекой
засасываемый в воронку

в ту бездну где и свет другой
и страх был жуткий!..

Как заслонку,
он веки приоткрыл, с трудом
опомнясь, кровь так и стучала,
и лег на правый бок... Потом
верней теперь опять сначала
сидел за партой и пока
учительница $X + Y$
писала он исподтишка
следил как мускулы на икрах
бугрились и пока с мелком
рука ползла он видел в дымке
как наливались молоком
две подколенные ложбинки
и сам он наливался весь
упругим чем-то и горячим
молочным молодым но здесь
он взглядом словно бы незрячим
в упор увидел на доске
была контрольная задача
опять баранка в дневнике
он понял и едва не плача
склонился для отвода глаз
опять не сходится с ответом
опять опять в последний класс
не перейду и за соседом
пригнулся но среди всего
заметил с ужасом немалым
что голый весь а на него
идет она она с журналом
и он пригнулся грудью лег
авось не вызовет Семенов!
к доске! и зазвенел звонок

и сердце сжалось захолонув

.....

Звонил, звонил, звонил...

— Алло?

Семенова? Какие хаши?

Он спит!— и выругался зло,
и чувство собственной пропажи
и той, другой...

На двадцать лет
ты опоздал, Семенов, к балу.
Ну что же, если клином свет,
идет комедия к финалу,
подумал он. Бывает миг
какого-то полусознания,
когда ты муж, дитя, старик —
всё вместе, и воспоминанья
не быть, а смотровая щель
туда, где жизнь неискаженный
имеет замысел и цель
иную, где, освобожденный,
живешь с такой отдачей сил,
что в это, кажется, мгновенье
живешь, а не в котором жил
однажды, но несовпаденья
и есть свидетельства, что дух
еще не умер,—так спросонок
он размышлял и вывел вслух:
— Не муж ей нужен, а ребенок!—
Он пододвинул аппарат,
по справочной Аэрофлота
узнал, когда на Ленинград
ближайший рейс, и, вспомнив что-то,
глядел, сосредоточа взгляд,
как, вздрагивая, сокращался
крученный шнур... Что ж, Ленинград

так Ленинград! Потом собрался,
допил оставшийся коньяк —
зачем калечить жизнь друг другу?—
завел часы, надел пиджак,
напялил плащ и — сумку в руку.
Ну вот, как Пешков по Руси,
ужом в заоблачные выси,
подумал он уже в такси.
А что? дошел же до Тбилиси,
и нам не худо: друг Реваз,
встречай!— На правом повороте
он вдруг увидел, накренясь,
свое лицо — и что-то вроде
догадки шевельнулось в нем:
он в зеркале увидел ясно
себя, но как с чужим лицом;
вот так же и она бесстрастно
пришла тогда, лицом бледна,
глазами только и сказала,
что все! что ос-во-бо-жде-на
и от того, что их связало.
А, что об этом! На углу
Вернадского, за перекрестком,
он вышел, запахнул полу —
не хаши, так бульон!— в промозглом
тумане ежась. Мрак ночной,
усугубляющий безлюдье,
редел, и с сумкой за спиной
Семенов шел, дыша всей грудью
и зло бросая взгляд косой,
как родственник, на чемодане
приехавший за колбасой
в столицу из Тмутаракани
на выходной,— кося окрест,
он шел, глотая воздух ранний,

на вызов — и вошел в подъезд
с решимостью, презренью равной.

Состав как будто поредел,
отметил он, но лица те же.
Не ясно, резче он глядел
или они сидели реже,
но перемена за столом
была заметна свежим взглядом
хотя бы в том, хотя бы в том,
что тот отдельно, а не рядом
сидел с гитарой, а она
одна, но говорили пятна
у глаз, что ночь была без сна.
Так, так, решил он, все понятно.

Меж тем обычным чередом
застолье шло, в обычном стиле,
хоть был и в темпе перелом,
как если бы переключили
его с 78
баритональных оборота
на 33, и, черт возьми,
бесовски захрипело что-то,
какой-то бас, как из трубы,
забухал, не без пиетета,
съезжая с табельной резьбы
то на Соссюра, то на Шпета,
и то ль похмелье, то ль запой,
Бердяев, Розанов, Булгаков,
последний, правда, был другой,
а так все то же, кроме раков
и пива к ракам, кроме хаш
обещанных (с крестцом телячьим,
подумал он)— какой алкаш
придумал студень есть горячим?

— Штрафной! Штрафной!— И под смехок
компания хозяин чинный
вином наполнил бычий рог:
— Пей, дорогой, и будь мужчиной!—
И, с рогом над застольем встав
под перекрестными смешками:
— Пей, дорогой, и будешь прав!—
он пил тяжелыми глотками,
откинув голову, и рог
над головою поднимался
все выше, выше — в потолок.
И встал. И дружный рев раздался.

— Ну, с праздничком!—
Он стул нашел,
для разряженья обстановки
сел, «Приму» выложил на стол
и в виде рекогносцировки,
не находя с чего начать,
но как бы по привычке старой,
помедлив, пачку взял опять
и выщелкнул тому, с гитарой:
— Вы курите?—

На пять-шесть лет
тот старше был и не без позы
раскрыл при виде сигарет
двустворчатые папиросы,
весь портсигар, обмял в руке
табак и тоже по привычке,
стуча, нащупал в пиджаке,
косясь на зажигалку, спички,
— Да как когда,— и, закурив,
обвеял дымом «Беломора»
и пальцами набрал мотив,
не продолжая разговора.

И что смешно, неотразим
для женщин, он с ухмылкой тонкой
нарочно куры строил им,
а куры мечены зеленкой.

Да, выходила ерунда:
тот вроде хват, а он зануда.

Но тут хозяин-тамада
за гостя начал от верблюда
грузинский тост, по мере сил
не нарушая ритуала.

— А хаши из чего?— спросил
Семенов, слушая, но мало,
и слыша явно невтопад
далекий от благоуханья
какой-то костный аромат.

— Забыты нежные лобзанья,—
вино и песня потекли,
и под надтреснутые звуки
он мыслями блуждал вдали,
уоставься на чужие руки...

Потом непроизвольно взгляд
он перевел назад, как стрелки,
на телефонный аппарат,
на две настенные тарелки.

В трех ракурсах преломлены,
в обратном высвете неверном
стояли три лица жены,
он взглядом повстречался с первым:
открытый, как бы нараспев,
припухлый рот ее был влажен.

И долго так, оцепенев,
он разговаривал с трельяжем.

Не поражение тяжело,
в конце концов лишь поражение
и учит нас, но, как назло,
ты у него на иждивенья

живешь, почти как у Христа
за пазухой — вот что ужасно,
подумал он, и неспроста:
он видел, и довольно ясно,
что он ни в чем не убежден
и ни на что не мог решиться,
а так, считал себе ворон,
при этом с правом очевидца.

Пока обеденный сервиз
поштучно расставлял хозяин,
он вышел на балкон — и вниз
глядел, на улицы окраин,
на ранних пешеходов, на —
переключился — на перила
облокотилась тень: жена
стояла и не говорила.
И не было ни слов, ни сил.
И было тягостно обоим.
— Повеселилась?— он спросил.
Она ответила:— Ты болен,—
и поглядела вниз.— Ну как
герой-любовник? Падам до ног?
Здоров, надеюсь?— Ты пошляк.—
И помолчал:— А он подонок.

И так молчали о своем...

Потом, когда сказала водка,
уже под хаши с чесноком,
он быстро захмелел, но четко
представил, как он с ней уйдет
и близость будет долгой, жадной,
не близость, месть: его черед!
а там хоть к дьяволу!— с надсадной
какой-то тупостью, в упор,

с упорством, местью поглощенным,
глядел он, не вникая в спор,
кого бы расколоть еще нам,
и отключался... Да, везло
как топляку: уже к развязке
его куда-то понесло,
поволокло бревном из ряски
в кружащий омут: спать так спать!—
и вспять, на берег камышиный,
полез он сдуру на кровать
с ногами и, накрывшись тиной,
глухой колодой лег на дно.
Что было дальше — неизвестно,
какие-то потемки, но
с просветами, а если честно —
фосфоресцирующий мрак:
до фонаря! катитесь к черту!
мрак. мрак. и под щекой кулак.
и рожи! и кому-то в морду!
ночь. ночь. и черный виадук
с трассирующими огнями.
скрежещущий и трубный звук
из преисподней. ад с тенями.
и — поезд дальше не пойдет,
прошу освободить вагоны!
— Эй, друг, проснись!— Вот идиот!—
и гул. и черные плафоны.

Он медленно обвел кругом —
— Живее, гражданин, живее!—
глазами: что? какой вагон?
зачем? и, медленно трезвея,
поднялся. Это был не он,
а некто, кто имел, однако,
его привычки и жаргон

и даже сходство с ним.

Из мрака

он выходил на внешний свет,
и свет был резок и пугающ.
шатало. все толкались. бред
какой-то: проходи, товарищ!
иду, иду. но почему
на «ты»? мы, кажется, не пили
на брудершафт? по одному
проталкивались. вверх поплыли
в трубу наклонную. на дне
кишел народ. как в мясорубке.
он первый с ней порвал, а не
она. и разве дело в юбке?
нет, граф яснополянский прав.
не в ней одной. когда в отключке
его подняли, растолкав,
он все сказал им! все! и сучке,
и кобелю ее, пока
не вышло вроде потасовки.
потрогал, не горит щека?
нет, отлежал. не ей, дешевке,
его учить! но как потом
попал на ветку кольцевую,
под землю, представлял с трудом.
заспал.

На твердь береговую,
как Жак Кусто какой-нибудь,
он выходил из погруженья
с одним намереньем: хлебнуть
сто пятьдесят от раздраженья
и жажды, жгущей как наждак.
(Кто пил, тот знает, как чрезмерен
любой, казалось бы, пустяк,
который на тебя нацелен,
когда мешаются в мозг)

и ночь, и день, а он наполнен
и вправду был таким рагу,
что утро сдвинулось на полдень.)
Земля плыла, и он, даваясь
в дыму, над урной железной
стоял, затаптывая в грязь
субботний сор и прах воскресный
как символ. Это ль не урок
новейшей повести амурной:
герой не у любезных ног,
а перед выгребною урной?

Потом, уже поодаль, вид
горящей урны философски
настроил мысль его: горит
и жизнь вот так от папироски,
семья горит и вообще,—
у красной будки автомата,
порывшись, он нашел в плаще
монетку. Жизнь не виновата.
Он пролистал от А до Я
по книжке номера знакомых,
но в будку не вошел: чутья
хватило — был и он не промах —
звонком не спугивать подруг,
в чьи благосклонные колени
уткнувшись, он делил досуг
и ревность усмирял в измене.

Итак, чтоб горло сполоснуть,
он старки выпил для порядка
в подъезде на троих — и в путь,
но путь его очертим кратко,
поскольку темной голове
с похмелья вряд ли разобраться
и в белокаменной Москве,

а уж в панельной зря стараться.
К одной заехал в Теплый Стан —
в гостях, из Свиблова другая:
— Прости, но у меня роман,—
ха-ха! роман! трясет бабая!—
куда теперь?— устав как черт,
портвейна выпив разливного,
решил опять в Аэропорт,
а глянул — вроде Бирюлево,
или Чертаново, или —
черт разберет — одно и то же:
дома, газоны, кобели,
витрины, урны — все похоже.

Должно быть, город зажигал
огни иль, тучи разрывая,
заря косила — он шагал
вперед, куда вела кривая,
вдоль теле-окон и витрин,
где, 220 вольт напрягши,
тьмы праздновавших, как один,
вопили:— Шайбу! Шайбу!— так же,
как сотрясался Колизей
в ристалищах, и мимоходом
он мог бы, окажись трезвей,
следить по крикам за исходом,
пока толкался наугад,
притом, как некогда Оленин
к горам все примерял подряд,
так и Семенов был нацелен
лишь на одно: рогат! рогат!
кровать или предмет алькова —
рогат, халат — рогат, плакат:
бык микояновский — и снова
рогат; куда глаза глядят
он шел (хоть образ порезвее,

а то и впрямь как экспонат
из театрального музея:
Хозе!— так шел он вдоль химер,
то застывал: но факты? факты?
с какой бы стати, например,
вдогонку крикнула:— дурак ты!—
то дальше брел, теряя нить:
очки. гитара. папироса.
— Минувших дней не воротить,
нет больше грез...—

Какая проза!

Как пошло все!..

В стеклянной мгле
тахта двоилась раскладная,
и стол, и ценник на столе,
и кресло — все, напоминая
наглядным образом о том,
что потеряло смысл, вдобавок
и фигурально тыча лбом
в несостоятельность всех ставок,
и почему? не потому,
что в ложе вылезла пружина
и ложь язвит, а потому,
что истина непостижима.

Ну что же, видно, не судьба.

Кто виноват, что нету дара?
что у тебя струна слаба,
а у того в руках гитара,
вот и пошлб!— а отчего,
да хоть от праотца Адама
и верного ребра его,
и выйдет с бородою драма,
или считай от двух бород,

которые, положим, сыну
и внукам дали на развод
свою скучнейшую щетину,
не драма, а островский лес —
он мельком зыркнул по портретам —
в котором вряд ли б и Уэллс
узнал прообраз,— в том ли, в этом,
не в этом дело!— разбери,
когда в себя не стало веры,
и ослабел закон внутри,
и в небе звезды из фанеры,
а жить-то надо! самоед,
все лица делал: мимикрия?
а вышло, что лица и нет,
что и по сути как другие,
в век революций мировых,
технической и сексуальной,
другой, другой из тьмы других:
столичный, но провинциальный,
не из героев, но герой,
из первых проб, но никудышный,
Семенов, так сказать, второй,
однофамилец, третий лишний,
не человек скорей, а тип,
Отелло? да не в этом дело,
а дело в том, что ты погиб
как личность — так оторопело
он мыслью тыкался, и взгляд
был зорко-слеп...

В его рассудке
зияла брешь, и автомат
он вновь увидел в красной будке
и лужу красную. Да, да,
теперь по логике сюжета
он должен позвонить туда,

куда не смел. Одна монета
могла спасти его. Одна.
Он как бы взвесил на ладони
груз правды: вот она, цена,
и усмехнулся. В телефоне
скрипело что-то и скребло,
должно быть, грозовые бури
взрывали фон, потом:— Алло?..
Я слушаю вас!..— из лазури,
с невозмутимой высоты,
и снова треск за облаками.
И вдруг:— Алеша, это ты?..—
Он медленно, двумя руками,
повесил трубку на рычаг
и вышел...

Что соединяет
две жизни? что их мучит так?
Не самолюбье ли? Кто знает.
Привязанность? или тоска?
Ревнуют, пьют, бегут из дому,
а глянуть: жизнь так коротка —
как жизнь, и кто судья другому?
Одна судьба и две судьбы —
вот связь. Какая ж неувязка —
так близко помыслы и лбы,
но как Чукотка и Аляска!
Перед одною пустотой
и перед бездною другою
ты сам-то кто? и кто с тобой?
чем разочтешься? тьмой какою?..

А вдруг сознанием вины
мы жарче близости запретной
друг с другом соединены?—

перед витриной многоцветной
пришло на ум ему. Цветы
клубились в зарослях зеленых,
как сны.— Алеша, это ты?—
Семенов повторил. Семенов,
всю жизнь Семенов, а теперь —
Алеша!.. Бросить бы с повинной
все астры!— он толкнулся в дверь:
закрыто!— стой перед витриной,
дыши на стекла: виноват,
бок о бок жил, а человека
так и не понял, взгляд во взгляд,
а проглядел, и вот — засека,
стена глухая, нет, глупей
и не придумаешь — такая
прозрачная, хоть лоб разбей!—
так, разум темный напрягая,
Семенов брел, куда вели
портвейн и старка, шел без цели,
не видя, как машины шли,
как транспаранты багровели,
не слыша, как под сводный марш
тянули план и магистрали,
из туш выделявали фарш
и в ящичке маршировали,
как под высотный автоген
кварталы смерти возводили
для баллистических колен,
и к свету шли, и доходили,
как чокались, но, к торжеству
вполне бесчувственный, бесцельно
Семенов шел и наяву
и в мыслях, как бы параллельно,
своим путем, он был готов,
кружимый многодневным хмелем
от МЕБЕЛИ и до ЦВЕТОВ,

проспектом шел и шел тоннелем,
то опускался в глубь земли,
то к высшим подымался сферам,
то фобии травил свои,
то перечеркивал все хером —
о, бедный интеллектуал,
сам заблудившийся в трех соснах,
он за собой предполагал,
помимо промахов серьезных,
какой-то роковой порок,
в ущербный ударяясь пафос,
а одного понять не мог,
что запланированный хаос
был то, чем все вокруг живут,
был жизнью всех, а уж она-то,
воистину как Страшный суд,
пытала, ибо и расплата
неправедна, и человек —
работник, деятель, кормилец —
лишь функция. лишь имярек.
hotblutus. однофамилец.

Всмотрись, и оторопь возьмет —
единый лик во многих лицах:
класс — население — народ,
и общество однофамильцев,
и коллективный симбиоз
на почве самовытеснения:
раздвоенность, психоневроз,
с самим собой несовпадения,
шизофрения, дурдома,
распад семей, кошмар наследства —
нет, пусть уж будущность сама
спасительные ищет средства!
А нам-то что, из кожи лезть?
Рвать когти в небо Иудеи?

И Эрос есть. И Логос есть.
Нет Космоса — как сверхидеи.
Нет — и когда: в ракетный век —
прорыва бытия из быта
и Неба нет, а есть разбег,
есть колея и есть орбита,
есть путь, десницею в века
прорубленный — и на экране
всеосвященный свысока
ленивым мановеньем длани,
но если в видеотрубе
идушим машет долгожитель,
будь, Муза, с теми, кто в толпе,
да будет проклят победитель!
будь там, где лихо без сумы,
забытое, быть может, Богом,
бредет по свету, там, где мы
влачимся по своим дорогам,
и там, где все, своим путем,
беспутьем, мыкаясь досуже,
Семенов шел — но грянул гром:
ба-бах! — и, поскользнувшись в луже,
он стал среди дороги: — Мать!.. —
и не успел закончить фразы,
как с треском начало светать,
и в небе вспыхнули алмазы
и плавно, не спеша опасть,
поплыли в движущемся свете,
— Ура-а! — переменялась власть
лет сто тому. — Ура-а! — и дети
повысыпали из квартир,
метнулись голуби, и круто —
один в зенит, другой в надир —
раскрылись разом два салюта,
и, отшатнувшись тяжело
в исполосованном наклоне,

пространство косо поползло
на разбегающемся фоне
галактик, улиц и огней,
и все смешалось, свет и тени,
он, и она, и тот, кто с ней
и понеслось в каком-то крене
туда-сюда, и вниз, и вверх,
и ночь, и коитус, и качка —
о, это был не фейерверк,
а ерш и белая горячка
или, вернее, черный бред,
делириум, синдром похмелья
и все такое, чему нет
названья, кроме как затмения
рассудка.

В поздний час когда
он оклемавшись понемногу
опять куда-то никуда
забыв и город и дорогу
и даже имя шел впотьмах
не замечая тьмы крошечной
с блаженным мыком на губах
освобожденный и нездешний
он шел и это был не сон
и не виденье город спящий
и он в действительности он
тот самый первый настоящий
как в детстве он куда-то брел
или стоял но мысли сами
брели и белый ореол
чуть занимался над домами
и помавание высоты
живило ум и Голос Свыше
взыскал — Семенов это ты?
— ты — ты — и отклика не слыша

— Семенов это ты? опять
взыскал Он

— Я!— сказал Семенов,
сказал — и красную кровать,
станок двуспальный купидонов,
узнал внезапно за стеклом:
тахта, стол с ценником и кресло
все в том же свете нежилом
мерцали буднично-воскресно —
проклятье! как заговорен,
он лбом уперся: вот — граница.
рубеж. стекло или гандон
езде. живому не пробиться,
хоть расшибись! прозрачный сплошь,
в потемках света кто-то трупный:
— Иль ты меня не узнаешь?—
качнулся, тенью неотступной
обозначая силуэт,
качнулся и поплыл всей массой.
— Я. возвращаю. ваш. портрет.—
Семенов с желчною гримасой
кивнул кому-то и мыча
отпрянул грузно и не целясь
наотмашь саданул сплеча
свинцовым кулаком — и — через —
шагнул под грохот в пустоту
и — не соразмеряя жеста —
всем телом рухнул на тахту,
не чуя боли!..

О, блаженство!..

.....
.....
.....

То не архангел ли трубит,
не серафим ли меднотрубный?
То «помощь скорая» летит,

а следом — мотоцикл патрульный.
То не священный ли глагол
свидетельствует Откровенья?
То назревает протокол,
притом на месте преступления.
На том и оборвем сюжет
и высветим лицо в картине
(познай, где тьма,— поймешь, где свет).
Вот вам герой — в пустой витрине.
Вот — факт. Куда ни заведет
рассказ, где за героем следом
влетит и автор в анекдот
за сходство, так сказать, с портретом.
А все четырехстопный ямб,
К тому же с рифмой перекрестной
а-б-а-б — и хром, и слаб,
такой, как утверждают, косный,
а нам как раз, но если нас
издевкой и зацепят едкой,
что ж, не обрамить ли рассказ
пушкинианскою виньеткой?

Хоть так: за праздничный разбой
муж на год осужден. условно,
о чем жена, само собой,
жена жалеет, безусловно.
Что ж до другого и других,
тут все осталось как и было,
волна прошла — и омут тих.
Когда же снова накатило,
а проще говоря, когда
сошлись в ближайшую субботу
обмыть решение суда,
то штучкам не было и счету,
и разговор на свежачка
пошел опять вокруг бутылки,

вокруг клейменого бычка
и перца в экспортной горилке,
и от соленых огурцов
и дуализма Оригена
вплоть до сионских мудрецов
и до Теяра де Шардена —
так, слово за слово, опять
пошли талдычить суд да дело,
но сагу эту повторять
нет смысла, да и надоело.
Не все ль равно мне, кто жених,
кто муж и чья жена невеста,
когда и я не лучше их,
и все мы из того же теста:
одна душа и две души...
Задев за провод оголенный,
попробуй связно расскажи,
что только дьявол да влюбленный
и могут знать (а может, нет?),
тут хоть костью дорожку вымость,
но что ни год — стеченье бед,
нечаянность, неотвратимость —
все вдруг, и каждый отражен
в другом с рожденья и до смерти,
а потому один закон
и твари мыслящей, и тверди.
И пусть от внутренних прорух
готов сквозь стену проломиться,—
как от болёй мрачится дух,
так от болей и прояснится.
Все это жизнь, и высший суд
не свыше нашего незнания.
Но сны... куда они зовут?
о чем они напоминанье?
Но то, что меж тобой и мной,
что это? только ли разгадка,

лишь отсвет сущности иной
иль жар, палящий без остатка?
Но и в подончестве людском
среди всякой шушеры и швали
что значит жажда об ином
лице, обличье, идеале?

А вдруг и помыслы и сны
в нас проступают, как о Боге
неопалимой купины
пятериковые ожоги?..



На ночной, на заснеженной улице
свет такой, что идешь как во сне.
Видно, даром все лучшее сбудется,
а худое по нашей вине.

Остыя стужи настыли на линии.
Я люблю здесь бродить вдоль путей
под навесом в искрящемся инее
расступающихся тополей.

Мраки белые! где занавешено,
где потушено — тайна для глаз.
Загадать бы на счастье, да где ж оно?
Вот оно!— и погаснет как раз.

Это наше, глухое и дивное,
не сказавшееся на словах,
словно молния локомотивная
на железнодорожных путях.

Вот ударит струной — и по узкому
коридору, мерцая дугой,
от Савеловского к Белорусскому
проскользит и уйдет к Беговой.

Кто да что, с семафора не спросится,
прощевай!— простучит полотно.
Это жизнь не чужая проносится,
а куда — не поймешь все равно.

Чем же мне, как не мысленным лепетом,
остается сказаться ей вслед?
Я люблю тебя здесь, а не где-то там,
в этом тамбуре, где меня нет,

в этой будке, замерзшей на улице,
где слова проглотил автомат.
Знаю, знаю, и худшее сбудется,
но и худшему, кажется, рад.



МАХАРОБЕЛИ¹

Б. Окуджаве

Что-то давненько мы не сидели,
в тесном застолье песен не пели.
Где же он скрылся,
где заблудился,
радости вестник, Махаробели?

Что-то раненько мы загрустили.
Нет бы пороша выпала — или
утречком рано:
— Вам телеграмма,—
Махаробели, это не ты ли?

Махаробели — это метели
месяц кружили и отлетели,
а по морозцу
вышла к колодцу
ты, моя радость,— Махаробели.

Махаробели — это в апреле
черные дали заголубели,
окна открыли,
стекла помыли —
это ль не праздник, в самом-то деле?

¹ Махаробели — вестник радости (груз.)

Махаробели — день на закате.
Что вы, вороны, сбились некстати?
Вороны, вы ли
не поделили
жертву живую? Будет вам — нате!

Рухнут завесы, вспыхнут светила.
Ты ли, Надежда, дверь отворила?
Вот же он, Маха...—
и оробели
губы от страха. Тьма обступила.

Махаробели, Махаробели,
петь собирались, да не успели.
Кончено дело!..
Вдруг — просветлело:
кто это в белом — там, у постели?..

● ● ●

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...

А. Кушнер

И кафель, и паркет — а где уют?—
дома, дома — но я не о жилищах,—
мы строим их — они нас создают,—
вот я о чем: о доме, церкви нищих,
о доме как семейном очаге,
а он один, и — хорошо ли, худо —
в каком бы ни носило далеке,
я никогда не уезжал отсюда;
вот ваня-мокрый в банке у окна,
замазка и всякие бутылки
под окнами, и в глубине видна
недужная сирень — и мы любили!—
вот двор с конюшной — как же, узнаю —
а дальше сад — но до другого раза,
что главное?— не впасть, как в колею,
в чужую интонацию рассказа,
в повествованьё; получил на днях
письмо я от профессора Адмони,
в котором он на дружеских правах
мне пишет, что находит общность в тоне,
хотя повествовательность меня
и заедает — вот она, забота!—
люблю я ленинградцев — мы родня:
у них болото, и у нас болото,
хотя, как знать, не в пику ль нам взошли
из той же зыби, из того же теста —

и медный конь, и пузыри земли,
кунсткамера, шалаш, Адмиралтейство;
завидую собрату: в этот час
он гоголем шатается вдоль Мойки,
а у меня, увы, не тот пейзаж:
сарай, огороды да помойки;
но есть прогресс, однако, и у нас:
бывало, мы дровами печь топили,
теперь гудит за изразцами газ —
и что же?— ни поэзии, ни пыли,
зато тепло; и, сев к колоснику,
взгрустнул бы, вспоминая про поленья,
да не к лицу грустить, как барчуку,
интеллекту в первом поколении
или, как Слуцкий говорит, полу-
интеллекту, родом из Посада,
который мог бы развести пилу,
а мог бы и чернила — да не надо,
поскольку газ, а перейди порог —
и школьные товары по соседству,
где вот он, вот — заветный пузырек,
и — мятный дух... и, повернувшись к детству,
острее зренье: погрузи перо,
как в реку шланг, и знай кропи тетрадки
живой водой и возвращай добро —
сравнение продолжу,— как на грядке
редиску, а она во сне растёт
как красны девки, а бела как бабы...
о чем я? дай Бог память... да, так вот:
не все ж от печки танцевать, пора бы
от батареи, что ли, но какой,
какой арап возвел коробки зданий
взамен домов и обозначил строй?
нет, не творцы мы наших начинаний,
все под копирку, все как у людей:
упадок дел и оскуденье мысли,

подъем труда и шахматных идей,
и так вся жизнь на ветхом коромысле,
вся эта новизна... но ухни гром,
но ворон каркни над гробами башен —
и как прозришь: куда же мы идем,
мы, умники? какой пример покажем
другим? другой начать эксперимент?
но и в тайге и в джунглях выбор тот же:
центрально-африканский президент
ест подданных своих, а вот в Камбодже
едят лишь печень классовых врагов,
и там прогресс, но сытой ли Европе
рыгать хулы? уж если мир таков,
кто нас спасет? спасут нас наши топи!
да, да, здесь бродят мысль и матерьял
свои, и лесом мыслящих побегов,
как дом Давидов на песке стоял,
так встанет, предположим, дом Олегов
среди болот; за совесть, не за страх,
воздвигнем храм в черед иным кумирням,
а там, глядишь, как всадник в зыбунах,
самих себя же за волосы вырвем
из этих прорв и хлябей в небеса
и, может быть, как куклы из вертепа,
в такие бездны глянем, что глаза
увидят снова твердь — Земли и Неба.



Пусть те, кого оставил Бог,
цветут и пыжятся в гордыне,
пускай бобы у них как дыни,
где у других — сухой горох;

пускай в кольчугах из наград
бряцают золотом латунным,
пускай в Совете многодумном
на них и шапки не горят;

пускай берут за семерых,
пусть сам-десять гребут лопатой,
пусть не уступят и десятой,
да не осудим их — пусть их!

Но тот, кто тянет на горбу
свою недолю — и выносит,
кого косою неправда косит,
а он лишь закусил губу;

кто нищ, бездомен и гоним,
он, прах гребущий по дорогам,
как Иов, не оставлен Богом,
но ревностно возлюблен Им.

СЕМЕН УСУД

— Во как!— обычно скажет Семен Усуд,
если вдруг кто-то где-то отколет штучку,
выпятит губы, словно найдет колючку.
— Я так и знал!— и сглотнет ее, как верблюд.

Что ни случится: в глаз попадет ресница,
и не ему, а соседу, на сеновал
малый затащит девку, а та — девица,—
скорбно надует губы:— Я так и знал!

Все-то он знает, все-то он глазом точит,
словно нечистая сила ест мужика;
встанет перед забором, если доска
плохо прибита:— Во!— и доска отскочит.

Словно ребенок, а по летам старик,
не приложил он рук ни к чему и — дальний —
ходит среди людей, и худой кадык,
как у верблюда, пришлою дышит тайной.

Глянешь — куда его черти с утра несут?—
кепку надвинет и чешет себе, сердешный,
мучимый любопытством — иль скукой здешней?—
кто его знает.— Куда ты, Семен?— У суд.

Тем и живет. А кто? А откуда родом?—
тайна и есть. Работал ли где когда?
Словно однажды вышел с другим народом
и по пути отстал и забрел сюда.

Сроки ли выйдут, на́ душу ль камень ляжет
как облегченье, войдет ли под карк ворон
Высший Судья:— А ну-ка скажи, Семен,
не за себя, за тех!— и Семен все скажет.

Как-то встречаю осенью — шел отстрел
диких собак,— и вспомнил он: «В тридцать третьем
я убежал. От голода зубы съел.
Нам-то еще повезло...— И добавил:— Детям...»

— Во как!— потом сказал, помолчал чуток
и, не простясь, пошел городской пустыней,
где на деревьях тающий тенькал иней
и под ногами мерзлый хрустел песок.

Я еще вижу, как он идет по скверу,
как он уходит, тая худой спиной...
Господи мой, не этому ли примеру
следовать наказал ты в страде земной?

Не потому, что дни его незлобивей,
чем у других, а ночи, быть может, злей,
не потому, что духом своим бедней,
а ремеслом да промыслом нерадивей,

а потому, что в мире больших невзгод
он, как дитя большое, в обидах страшных
не по обидам, а по вине живет,
больше того, врагов возлюбил вчерашних,—

может быть, он, когда выйдет его черед
перед лицом Творца оправдаться в судьях,
хоть бы за то, что прожил верблюдом в людях,
в Царство Небесное как человек войдет.

О ТОЙ ЗЕМЛЕ

...А в той земле, где Рыбинское море
теперь шумит, где белый теплоход
кричит в тумане, чувствуя в моторе
живую боль, и сбрасывает ход,
как бы поклон последний отдавая,
и вторят криком встречные суда
да чайки, и волна береговая
в глухую память плещется, когда
решили землю сделать дном и Волгу
пустили в эти поймы и луга,
на дольный мир, крестьянскую двуколку
колхозом тянущий, и облака
из мутных вод, как саван погребальный,
всплыть не могли, и только монастырь
еще стоял, как в день первоначальный,
холодную высвечивая ширь
и поднимая купола и стены,
расписанные фресками внутри,
но и они, темнея постепенно,
туда бы перешли, где пескари
уже ходили, чудищ пучеглазых
напоминая, если бы не те
художники, из бывших богомазов,
которые, на козлах и в воде
по щиколотку стоя, по колено,
работали не покладая рук,

и сняли роспись, и спасли от тлена,
и умерли — так вот, какой-то звук
о той земле, какой-то призыв резкий,
как бы пилой по камню, все стоит,
стоит в ушах...

Я видел эти фрески
в Донском монастыре. Тяжелых плит,
как бездны, распечатанные книги:
Ной у ковчега с парами зверей
и белым голубем — я слышу крики,
и рев, и плеск, и рокот кораблей
уже других, шелка и багряницы
везущих в трюмах, вина и виссон,
вот Вавилон, великая блудница,
сидящая на водах и верхом
на звере семиглавом и багряном,
жена с блестящей чашею в руке,
паскудством переполненной и срамом,
я вижу обмеревших вдалеке
купцов, и корабельщиков, и кормчих
перед той, великолепной и нагой,
вмиг рухнувшей и околевшей в корчах,
пытающий свидетелей Христовых,
и сонмы их, polegших как снопы,
в одеждах белых, и на всех просторах,
на всех морях — громовый глас трубы:
се — Первенец из мертвых и Владыка
царей земных на облаке грядет
с небесным воинством Своим, и дико
трепещет в злобе сатанинский сброд;
и — белый конь, и на коне Сидящий
в одежде окровавленной, и меч
из уст его исходит злоразящий,
то Слово Божье, огненная речь

возмездия!— но столько страсти грешной
в виденьях кисти, страсти и стыда,
что это уж не Страшный суд, конечно,
не суд, а Праздник Страшного суда.

Не убоимся же десницы гнева
Господнего, а возблагодарим
Дарующего урожаем посева —
веселье праведным и гибель злым!

И вижу я на утреннике тусклом,
как вскрылись реки и очнулся лед,
крошась на льдины, и пошел по руслам
сполох широкий, как вселенский сход,
и схлынул за два дня, и две недели
снега сгоняло с обморочных нив,
а в третью, за ручьями вслед, запели
и птицы, и когда двойной разлив
все затопил — о, что с тобою стало,
вдруг вырвалось само, земля моя,
ты столько лучших в бездны покидала
и вот застыла, словно бы ничья,
у паводковых вод, где кружит голубь
над островком невестящихся верб
и дебаркадером, где серп и молот,
перекрестившись, сочетались в герб.

Плывите, корабли, путями века,
венозной синью сухопутных карт
над лесом строевым, где Ян Сапега
поляков положил, где Волго-Балт
провел на Север шлюзы и заводы,

систему маринских лагерей,
где плещут воды, многие народы,
плывите же дорогою своею
с победным маршем, поднимайте якорь
над жизнью той, что под воду ушла,
над косточками русскими, где пахарь
почил на дне, и пусть колокола —
подводные — звонят, пусть бьются била
у побережий новых атлантид,
над Китежем, вздымающим стропила,
где хриплый петушок еще кричит...

Что сделано, то сделано, но в силе
все кровное останется и впредь.
Мы заплатили больше, чем просили.
Зачем же плакать, если можно петь!
Пой, Муза, пой, пустые бросим споры,
унынье от лукавого — и пусть
проходят за кормою Переборы
и Пошехонь отвеивает грусть.
А где язык запнется у поэта,
при свете дня или ночной звезды
пусть встанет, как восьмое чудо света,
белеясь, колокольня из воды...



На Каме-реке и на Белой реке —
леса под водой и леса вдалеке,
большая вода с островками;
затоплены русла, и на море вод
то вынырнет куст, то труба прорастет
на Белой реке и на Каме.

И реки не знают своих берегов!
Весной, когда паводки сходят с лугов,
стога подмывая и елки,
с верховий уральских по фронту реки
плывут, как утопленники, топляки,
их ловят баграми у Волги.

Страна моя! Родина братских могил!
Наверно, небедно нас Бог наградил,
коль пашни свои затопили
и боры свели ради пресных морей
и сами для будущей жатвы своей
по водам свой хлеб отпустили.

Ну что же, распашем речной чернозем,
по руслам затопленным к устью пойдем,
и пресное станет соленым.
Вокруг и под нами струящийся мрак,
а звезды на Каме как царский пятак,
а воздух шибает озоном.

Широкая ночь упирается в грудь.
Постой, подыши. Ничего не вернуть,
лишь волны гуляют на Каме.
Мотор пневматическим бьет молотком.
И сердце стучит, но о ком? и о чем?
Ни зги не видать за буями.



Вот деревушка на краю оврага:
полдюжины антенн над головой,
за каждым палисадником собака,
кой-где цветы — и ни души живой.

Хозяева, должно быть, горожане,
народ наезжий, гостевой народ.
Одна корова на переднем плане,
одна как целый молокозавод.

Четыре камеры ее желудка,
рубец и сетка, книжка и сычуг,
пока не гукнет из машины дудка,
поточно переваривают луг.

А к вечеру работницей уставшей,
мослами задевая за сосцы,
она идет деревней забрехавшей,
и тренькают на шее бубенцы.

Боднув калитку, в сумерках соловых
идет во двор она слепым шажком
поить своих хозяев непутевых,
кормить сметаной их и творожком.



А в сумерках вдруг налетели
белесые тьмы мотыльков,
вдруг вспыхнули и заблестели
все твари с окрестных лугов,
и шарил прожектор без цели,
выхватывая из метели
подобья речных берегов.

Ну вьюга! Куда мы попали,
в какие заплыли снега?
У поручней молча стояли
на палубе мы, и шуга
и слева мерцала, и справа,
и с хрустом, как в ночь ледостава,
опору искала нога.

Ночные созданья, ну что им,
казалось бы, наши огни,
так нет же, колотятся роем,
кишат на свету и в тени,
и странная мысль между прочим:
уж если на мель не наскочим,
от моли, Господь, сохрани.

Пора привыкать к поражениям,
глаза к темноте приучать,
пора бы уж внутренним зреньем
и берег слепой различать,
и слышать скорей по привычке,
как гаснут небесные спички,
и слушать свое, и молчать...

ПОСЛЕВОЕННАЯ БАЛЛАДА

- Привезли листовое железо.
- Кто привез?— Да какой-то мужик.
- Кто такой?— А спроси живореза.
- Сколько хочет?— Да бабу на штык.
- И хорош?— Хром на оба протеза.
- А язык пулемет. Фронтовик.
- Да пошел!..

- Привезли рубероид.
- Изразцы привезли и горбыль.
- А не много?— Да щели прикроет.
- Ты вдова, говорит, я бобыль.—
- А глазищами так и буровит.
- Ну-ка, дьявол, держись за костыль,
а не то...

- Привезли черепицу.
- Убирайся!— Задаром отдам.
- Разреши, говорит, притулиться
инвалиду ко вдовым ногам.
- Я не евнух, и ты не девица,
ан поладим с грехом пополам.

Дом стоит. Черепица на крыше.
В доме печь: изразец к изразцу.

Кот на ходиках: слушайте, мыши.
Сел малыш на колени к отцу.
А дымок над трубою все выше,
выше, выше — и сказка к концу.

Ах, не ты ли — какими судьбами —
счастье русское? Как бы не так!
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами,
как собака, и воет во мрак.



Седой учитель начальных классов в пиджаке с заложенным рукавом рассказывает о княгине Ольге и ее хитроумной мести древлянам, а я глажу за окно, где крыши косым отсвечивают огнем и голуби уличные, кружась, над городом носятся деревянным.

Когда ж это было? Страшно представить: тысячеlette тому назад, а любовь, разорванная войной, верна все так же и вероломна, и голуби, бедные мирвестники, все так же в гнезда свои летят, и все еще Искоростень горит, и зарево буднично и огромно.

И пол-Европы лежит в румнах, но, хоть все зарева погаси, неугасимое что-то брезжит, и синевою исходят лица, и та княгиня:— Си первое вниде в Царство Небесное от Руси,— и однорукый, и мы со всеми — в одном походе, и он все длится.

А палец выбрал уже цитату, но указующему персту так мало, видимо, было карты, а зримый образ так исковеркан, что длань, продолженная указкой, пронзила пикою пустоту:
— Не в мести правда, а в искупленье!— и вышел где-то под Кенигсбергом.

И было тихо, но где нам было постичь всю долгую скорбь его? Для всякой правды свой час, и ныне в ту даль я всматриваюсь из этой. И он свидетель, и я свидетель — мы все свидетели, но чего? Чего-то высшего мы коснулись своей бедой и своей Победой.

Ведь даже тот, кто звездой отмечен, помечен свыше еще крестом,
и кровь, пролитая в правой битве, все кровь — и ждет своего ответа,
но где последнее воздаянье — не в рукаве ли его пустом? —
где память сердцу и утешенье — не эта орденская ли мета?

И я, поживший на этом свете и тоже тронутый сединой,
я вижу сердцем десятилетним тот класс, и строгие наши лица,
и как молчали мы потрясенно, виной настигнутые одной,
и друг на друга взглянуть не смели, боясь увидеть в них те зарницы.



Памяти близких

А от нас неподалеку
жили до судьбы, до сроку
сестры мамины: одна —
с мужем маясь инвалидом,
две другие по убитым
убиваясь,— шла война.

Ах, и в ту войну, и в эту
сколько их по белу свету,
баб таких,— кому считать?—
от японской до германской,
от германской до гражданской
и в немецкую опять!

Как в четырнадцатом годе
не в своем ушел черед
от стального полотна
на тифозные полати
причаститься благодати
батюшка:—Прости, жена...

как жена в холодной будке
пошатнулась вдруг в рассудке —
шутка ли, не пара ртов!—
пошатнулась в духе с горя

и сама за мужем вскоре,
через несколько годков,—

и пошли они с разъезда,
по миру с родного места
по дороге по пустой —
Маня, Дуня, Оля, Нюра,
Шура да братишка Шура,
сирота за сиротой.

А дорога — нету дольше,
а бездолье — нету горше:
по снегу да по грязи;
кто обут — тот на колесах,
а они как есть из босых —
в лапоточках по Руси.

А в России, мать честная,
пертурбация сплошная —
с Капиталом бьется Труд:
гарью пахнет и железом,
кто с винтовкой, кто с обрезом,—
и куска не подадут.

Вся защита — малолетки.
Кто-то с цепкою в жилетке
пожалел и взял в семью
Маню в качестве прислуги
как старшую: швабру в руки
и — за революцию!

И меньшие не отстали,
на ноги с годами встали
и дошли от Становой
до Ельца, а там до Тулы,

а оттуда на посулы
до Посада под Москвой.

На посулы, да не к тетке:
кто на торфоразработки,
где залетка чубчик взбил,
кто на фабрику француза
под начало профсоюза
и окрестных заводил.

Да и то сказать, в девчонках
наломались на поденках,
нажились — аж с головой —
у богатых, у патлатых
и у тех, кто на подхватах,
а теперь хоть жмых, да свой.

В одинаковых платочках
настоятся у станочков
и у цеховых трибун,
грохот слушая и речи,
а накинут шаль на плечи —
у залетки колотун.

Кликнет Нюра, выйдет Оля:
ой, недоля-дроля-дроля,
не ходи за мною вслед,
у тебя, у бедолаги,
помрачительные краги,
да штиблет под ними нет.

Худо было, бедно было,
но парней за ними — сила,
а для каждой все один.

Худо-бедно, в полном сборе
встанут Яков и Григорий,
Евдоким и Константин.

А как свадебки сыграли,
да детей понарожали,
да пополнились родней,
глаже стали, а не хуже.
Спросят:— Замужем?— За мужем
как за каменной стеной.

Не за каменной, понятно,
но штакетник аккуратно
ставлен был, не спрехвала,
при бараке ли, при доме,
где собака на соломе
кость на счастье стерегла.

Жить и жить, да Дуню жалко:
тихая, не та закалка,
за другой стеной жила.
Из окошечка отдали
только юбку да сандалии.
А красавица была!

Так с больничною обновой
в путь невестою Христовой,
как из дома — в стынь и грязь —
и ушла за белой крупкой,
лишь сандалиями да юбкой
с сестрами навек простясь.

Что же, каждому с рожденья
мученичеств и терпенья
свой удел, но на порог
шло такое лихолетье

с кровью, порохом и медью,
где уж не удел, а рок!

Что из жизни довоенной
помню? Крапчатый, страшный,
чуть ли не с меня арбуз
и двоюродного брата,
как глядел он хитровато
на меня:— А ты не трус?

Вижу, вижу Николая,
как зубами самурая
хохотал:—Банзай! Банзай! —
Финку взял под приговорку
и проткнул тугую корку:
— Ну-ка, братец, дорезай.

И арбуз, на удивленье
крепкий, от прикосновенья
хрустнув, развалился вдруг —
красный, но такие зерна,
что, как время, красно-черный,
раздвоился — Красный круг!

Черный круг!— А это дуло
репродуктора зевнуло,
вырвав из белесой мги
тетю Маню под иконкой,
тетю Олю с похоронкой,
дядю Яшу без ноги.

Маня, Маня, тетя Маня,
всем была и мать, и няня,
рассудительней, ровней
остальных сестер, степенна,

статна необыкновенно,—
злее и досталось ей.

Как убили Евдокима
Николаича, да сына,
да другого — волчья сыть,
мало, что ли, им?— из флота
третьего за анекдоты
лес отправили валить,

как четвертый сын, последний,
двадцатичетырехлетний,
повидавший фронт и тыл,
в дом вернувшийся, от муки
непереносимой, руки
на себя же наложил,—

села Маня, поглядела —
слез уж не было,—присела
с краешка на табурет,
не зашлась, не поседела,
только вдруг окаменела
на почти что тридцать лет...

А у Оли тоже горе,
в крик запричитала Оля,
выбежала в чем была
на берег, чтоб утопиться,
а на Клязьме снег искрится,
прорубь за ночь заросла.

Поостыла, постояла,
маленькая, меньше стала,
и вернулась жить — вдовой.

Да и дочки: не накаркай,
та на фронте — санитаркой,
эта в школе — медсестрой.

Справка из военкомата.
Вот еще: убили брата.
Похоронная сума
ходит, ищет адресата.
Где веселые ребята?
Писем-то — сойти с ума!

А у Шуры говор за ночь —
пир ли, плач — пришел Лукьяныч,
Яков то есть, на одной.
Шитый-латаный, оглохший,
улыбается, хороший:
на одной пришел домой.

Разве это позабудешь?
Позабудешь — жить не будешь,
через что прошли, чтоб жить
по-людски и по-соседски,
говорить не по-немецки,
а по-русски говорить.

Или песни петь. Как пели!
Сядут под вытье метели
перед печью кто на чем,
слушая, как у девицы
просит раненый напиток.
Где околица? Где дом?

А «кирпичики» затынет
инвалид — и тихо станет,
не шелохнувшись сидят.

— Скоро, бабки, за оградку.
— Верно. Мужнину-то кладку
развалил-таки снаряд.

...Мал ли был иль жили тесно,
но куда как интересно
было жить. А почему?
Был отец. На нем держалась
не одна семья. Казалось,
и чужие шли к нему.

Потому что на конюшне —
распахать участок нужно,
привезти ль кому дрова —
все к отцу. Могу гордиться,
что Пегас мой, как у Китса,
тоже с конного двора.

День-то! С ясностью ребенка
вижу: выпала гребенка
мамина на половик.
Теток вижу сухопарых,
молодых еще, но старых.
Плач — и запоздалый крик.

Плач — и крик — и солнце, солнце,
из колонки даром льется
хлещущей струей вода.
Сохни, дева, у колодца:
кто ушел — тот не вернется,
не вернется никогда.

Что ж в последнюю минуту
Нюру вспомнил я, Анюту,
маму? Да уж так увел

просекой узкоколейной
хвост истории семейной,
хоть цепляйся за подол.

Тут что ни скажи, все мало,
Мама! И ее пинала,
ела поедом не раз
долюшка, но как ни круто,
спросят: «Как живешь, Анюта?»
— Лучше всех, кто хуже нас!

Все-то с шуткой, прибауткой,
и нечистого с анчуткой
запросто отбрить могла.
Но одно я помню: нищих
привечала:— Бог не взыщет!—
всем от скудного стола.

А уж Гришу так любила,
что привязывали было
к дереву ее со зла.
Горяча была, кудрява,
чистой — что худая слава!—
на двоих детей пошла.

А отец — тот был спокойный,
намахался в Первой Конной
шашкой — и в ножны вложил.
Впрочем, был, как и вначале,
при коне, но не призвали,
как в милиции служил.

Конюх и ткачиха — пара
явно из репертуара —
как свиарка и пастух —

тех времен, жених, однако,
прямо скажем, не без брака:
есть жена. Пошел и слух.

Ну так вот: нашло затмение
на жену, и в ослепленье
сadanула топором
мужа спящего, но мало —
двух младенцев покидала
в темный снег. Небесный гром!

Тоже страсть, да и какая!
Кто тут прав? Земля сырая
примирит их, может быть,
и простит. Есть утоленье
ревности и преступленья
только там. Не нам судить...

.....

Это было лет за восемь
до войны. Худая озимь
в снег ложилась до весны.
А потом и яровые
в прах ложились чуть живые,—
это уж после войны.

И над обмелевшей Клязьмой
хвоей полыхало красной,
ухало издалика.
И чернели слева-справа
топляки от лесосплава,
всосанные в берега.

Я в то лето scarлатиной
заболел. Сухой щетиной
на поле хирел овес,

где мы с мамой шли в больницу,
зной звенел, молчали птицы,
мама еле шла от слез,—

я-то думал: из-за дыма,—
шли мы кладбищем и мимо.
— Я умру?— как идиот
сглупу обернулся к маме;
мама белыми губами
улыбнулась:— Я вперед...

Выдумал. Идем в больницу!—
Сколько ни прошло, а снится
тихий звон...— Идем скорей!..
Поле это вспоминаю
да посылки Николаю,
черных мелких сухарей.

Это надо бы подробней,
да легла плитой надгробной
тяжесть та... А что слова?
Бесталанно наше море.
Реки слез и горы горя.
Как у всех. У большинства.

Не избыть. Да и к корыту
приписали, то есть к быту,
мол, такой-сякой поэт
прозой жизни озабочен.
А в России, между прочим,
быта и в помине нет.

Есть борьба за жизнь, при этом
за такую, чтобы светом
прорасти, как из земли
всходы прут,— но с постным видом

муку мученскую бытом
называть — не слишком ли?..

.....

Пусть из худобы в худбу:
я уехал на учебу
в институт, осел в Москве.
Там уток, а тут основа.
Не шелково, а сурово
шилась по стальной канве

жизнь моя. Текли, как воды,
дни, и месяцы, и годы...
Оглянулся: как вы тут?
На лице морщины или
трещины в прибрежном иле?
И дошло: к земле растут.

Вот они — под абажуром,
выбеленные на хмуром
оттиске, как негатив.
Кажется, не постарели —
выбежали из метели
девочками, все забыв.

Стало быть, не за горами
смерть уже, а за плечами,
вот и внучек под крылом
вырастили честь по чести,
пожили со всеми вместе,
тут и знамение в дом.

«Две синички прилетели,
крыльями прошелестели,—
сон припомнила сестра,—

и за почту повернули,
не иначе, к тете Нюре,
думаю. Пришла пора».

Так и вышло. Утром к маме
Оля, только что от Мани,
и с порога:— Николай!..—
Не дослушав, задрожала,
как слегла, так и не встала,
поболела — и прощай.

В полночь, точно жар колотит,
закричал отец:— Отходит!—
и, как мертвый, сам затих.
Белый, он стоял в исподнем,
словно в саване Господнем,—
снег один укроет их.

А она была прекрасна —
спящая. Я помню ясно,
как разгладились черты
смуглого лица и тело
медленно помолодело,
тяжкое от пустоты.

А как в дальний путь отпели,
ровно через две недели
Маня следом — знать, беда
не одна пришла к порогу,
режьте лапник на дороге,
открывайте ворота.

Запрягайте Сивку-Бурку
в сорок сил. На стол к хирургу
лег Григорий, отошел
от наркоза, сам побрился,

а назавтра свищ открылся,
со стола опять на стол...

Мы несли его по снегу,
по протоптанному следу —
я лица не узнавал —
на двойных сороковинах
поседел и от токсинов
в муках страшных умирал.

Приказал к тому же ряду.
По гражданскому обряду,
с музыкаю духовой
мы его похоронили
и стояли на могиле
вечность целую с сестрой...

Это ж ум зайдет за разум,
чтобы чохом или разом
все управились — проверь
по табличкам — за год, за два,
ничего не скажешь, жатва
так уж жатва! Без потерь.

Даром во бору упала
ель-сосна, недаром стала
тетя Оля попивать.
Говорю ей:— Бог накажет,—
а она рукою машет:
— Тут страдаем, там страдать?

Оля, Оля, тетя Оля,
елочка в холодном поле,
прозябала у реки.

Дом не дом, а развалюха,
переехала старуха
в теплый угол от тоски.

Дом большой, многоквартирный,
да, видать, прораб всемирный
на один возвел фасад
весь квартал, панель к панели,
не отыщешь нужной двери,
тыркайся во все подряд.

А октябрь холодный выпал,
потемнело, снег посыпал,
бес ли, вьюга ли, склероз —
все огни, а нету света,
в белой тьме пропала где-то,
дома не нашла в мороз...

А на красную субботу
кто-то с лайкой на охоту
вышел в поле и глядит:
вот лесок, а вот опушка,
пес в сугроб, а там старушка:
где присела, там и спит.

Что ей грезилось у ели?
Вечной странницей в метели
шла на свет — а света нет.
И одна осталась Шура,
младшая, из-под прищуря
тот взыскующая свет.

Шура, Шура, тетя Шура,
говорили, Шурка дура,
сызмала как без ума:

всем Фома, а ей Ерема,
с целым причетом знакома,
а не знает ни псалма.

Но когда за каждым близким
та, которой каждый взыскан
в час его, пришла с косою,
кто похлопотал заране
о кутье, кто службу в храме
заказал за упокой

по усопшим Евдокии,
Анне, Ольге и Марии,
по мужьям и детям их?
Кто, как не она, сорока
якова, не столь от Бога,
сколь от странностей своих —

богомолка-хлопотунья.
Это солнце в полнолуние
на небе на склоне дня,
свет и свет, живой и мертвый,
это веной и аортой
всосанная в кровь родня.

Это жизнь по жилам бродит.
Род приходит, род уходит,
и опять приходит род,
как трава, и там, где почва
общая не худосочна,
там и поросль не прейдет.

Человек живет с рожденья
в двух мирах, и подтвержденья
явны одного в другом:
в первом человек закован
временем своим, в другом он
связан памятью и сном.

Недоверьем не обижу
жизни видимой, но вижу
ту, которая в тени
зримой, и чем старше зренье,
тем отчетливей виденья
жизни, сущей искони.

Потому и умереть им
или где-то в мире третьем
затеряться не дано,
нашим старикам, старухам,
в тех краях, пока мы духом
в этих с ними заодно.

Жили все-таки, страдали,
век ничей не заедали,
а давали жить другим.
Стало быть, не за горами
вечное, а за плечами .
Мир им, мертвым и живым!

По снегу, по чернозему
в сумерках идя из дому,
думаю: где их найти?

Вот они — узрю за мраком,
в ракурсе как бы дwoяком,
в духе или во плоти.

Вот они — под абажуром,
выбеленные на хмуром
оттиске, как негатив.
Кажется, не постарели —
выбежали из метели
девочками, все забыв.

А над городом весенний
дым стоит, и воскресеньем
пахнет бурая трава.
И уходит от вокзала
колея, за шпалой шпала —
в строчку шитая канва.

Снег лежит еще местами,
а над черными крестами
грай — и не охватит глаз.
Господи, как мало надо —
слякоть, грязь, а сердце радо
в первый ли, в последний раз.

И поля за переездом,
и лесок в дыму воскресном,
елочка стоит одна,
вон синичка, вон другая
на столбе, а вон и стая,
кто еще там? — вот те на! —

дядя Яша ковыляет,
тетя Шура поспешает,
он ей палкой: молодежь?!
И косая вслед плетется.
— Мы из рыбинских,— смеется,—
нас на пушку не возьмешь.

А за Клязьмой бор стеною.
Хорошо гулять весною.
Хорошо глядеть на свет.
Всюду жизнь живая бродит.
Веселитесь, все проходит,
как сказал один поэт.





Не желудь по крыше, не мышь по стене,
но кто там крадется по краю?

— Родная, ты помнишь еще обо мне?

— Не знаю, родимый, не знаю.

— Я в топах сгорел на последней войне,
но я о тебе вспоминаю

все чаще и чаще. А ты обо мне?

— Не знаю, родимый, не знаю.

— Пока надо мною шуршат камыши,
я Богом тебя заклинаю:

забудь обо мне! Ты забыла, скажи?

— Не знаю, родимый, не знаю.

Не знаю, не спрашивай, память худа,
лопатою ручной отписалось

твое письмо, да и то никуда,

теперь-то зачем постучалось?

И бродит слепая свеча по углам,
по углям, где сестры и братья.

Забытые здесь и забытые там
последнего ищут объятья.

И в окнах дрожащих всю ночь напролет,
и во поле — свет негасимый:
— Ты помнишь, родная?— неслышно зовет,
и плачет:— Не знаю, родимый...

ИЗ ОДНОЙ ЖИЗНИ

(Пробуждение)

1

Проснувшись, и в сознание приходя
с трудом, и в темноте соображая,
что со своей женой лежит, хотя
жена могла быть рядом и чужая,
и то, что он лежит не где-нибудь,
а в собственной постели, на кровати,
вдвоем с женой, а ведь еще чуть-чуть —
и мог бы очутиться в результате
не здесь, где он очнулся в темноте,
а где-нибудь в подъезде повалиться
или в сугробе, неизвестно где,
а мог и вообще не пробудиться,
а если и проснуться, не понять
где: в вырезвители иль на вокзале
на этот раз, и хорошо кровать,
а то бы лавки, нары, вот бы стали
допытываться: кто? да тыкать в грудь,
да личность выяснять, слюнявя палец,
и разве объяснишь кому-нибудь
хоть что-нибудь, и ладно бы мерзавец,
а то ведь свой же брат, но с кобурой
на горло брал бы, а уж горло точно
как у царь-пушки, поглядишь: герой!
и морда — во! — недавно со сверхсрочной,

небось в дежурке, балуясь чайком,
сидит такой, как в Киселевке дома,
тепло, светло, и голубь за окном,
откроет рот — и нету полбатона,
вот так сидит, а голубь смотрит в рот
голодным оком, смотрит, выжидая,
не поперхнется? нет?— едок не тот,
не поперхнется!— и была такая,
такая рань еще, что не со сна,
а с радости, что на своей кровати
проснулся, и бок о бок спит жена,
и сам он цел-целехонек, и, кстати,
есть самогон в заначке, а ведь мог
не быть, и что никто ему не плюнул
ни в душу, ни в лицо,— а вечерок,
пожалуй, получился, он подумал.

2

Проснулся, кот, подумала жена,
привычно просыпаясь, как на шорох
замерзший караульный старшина
у складов оружейных, у которых
пропискнет мышь — и чудится шпион,
и так лежала, затаив дыханье,
воскресным утром, слушая сквозь сон,
как он встает, и зная все заране:
и что сейчас у мужа на уме,
а у него одно, и зная даже,
где самогон — давно бы уж в тюрьме
сидел дружок, не будь она на страже,—
и слушая в сердцах, как за стеной
трубит смеситель, с болью под лопаткой
внезапно поняла: и у самой

сработалась какая-то прокладка,
не заревела бы, как этот кран,
а ведь не так давно один художник
водил ее в шикарный ресторан,
а он мужчина был, а не валежник,
дарил цветы и говорил не раз,
у вас неординарная фигура,
я нарисую обнаженной вас,
да хоть бы голой! испугалась, дура,
уж не больной какой: ну что за блажь
глазами щупать? баб не видел, что ли?
вот мужики пошли: один алкаш,
другой маньяк, поди, тут поневоле
бесполой станешь, волочишь, как вол,
семейный воз, а ночью наважденье:
то апельсины падают в подол,
то Польша, объявляют, в положение,
ну Польша-то к чему? пускай родит!
тут дочь родная не дала бы крена,
тринадцать лет, а этот паразит
зальет глаза — и море по колено,
а хлопнется в постель — и вся любовь,
хоть вызвали куда мозги бы вправить!
нет в жизни счастья, говорит свекровь,
и что обидно: дура, а права ведь.

3

Последний год все чаще говорят
о счастье и о мире во всем мире,
спросонок поразило, год назад
еще не так об этом говорили,
уж не к войне ли, бабка говорит,
и крестится и так изводит маму,

что у нее нашли миокардит,
а я люблю воскресную программу,
жуешь себе с колбаской бутерброд,
а кто-нибудь, тряся свою бандуру,
перед тобою пляшет и поет,
я вообще люблю литературу,
вот где балдеешь, взять хоть Лужники,
народу туча, нет пустых скамеек:
прожектора, поэты, пирожки
с повидлом по одиннадцать копеек —
копейка олимпийский сбор,— гляжу,
один выходит, свитерок с фасоном,
сижу вот так и пирожок держу,
а он с рукою перед микрофоном
как в поезде качнулся вдруг — идут
белые снега, а на слово шустрый,
так завернул, что даже ком вот тут,
не сразу раскусила, что с капустой,
да где тут аппетит, а стадион
так и гудит!— из корифеев кто-то
не зря сказал, что человек рожден
для счастья, мол, как птица для полета,
тут есть о чем подумать, мне везет,
а может, я счастливая, не знаю,
счастливая, наверно: папка пьет
и мамка лается, а я летаю,
раскину руки и плыву, плыву,
пока во сне, но говорили в школе,
что можно оторваться наяву,
сосредоточившись усилием воли,
и я иной раз выйду на балкон,
в лопатках страх, но неземная тяга
толкает полететь, я слышу звон,
шажок, еще шажок, еще полшага...

Прости, Господь, что разумом темна,
прости меня, неграмотную дуру,
что вместо окаянного вина
поставила ошибкой политуру,
моя вина или попутал бес,
помилуй бестолковую Матрену,
что он спросонок в валенок полез,
сын мой, а сноха ушла из дому,
лишь дверью хлопнула — куда? зачем?
неужли из семьи? или за пивом?
пошли, Господь, Свое терпенье всем
и ухо приклони к нетерпеливым,
к изверившимся, к сбившимся с пути,
кто матерью гнушается и домом,
и стар и мал, мы все в Твоей горсти,
так с сердцем не оставь ожесточенным
нас в тесноте фанерной без икон,
и так перед людьми чужими стыдно:
— Пошла бы ты, Матрена, в исполком
да помахала б книжкой инвалидной,—
да перед кем махать-то — или Ты
оставил нас властям и учреждениям?
спаси нас от душевной тесноты,
и так по горло сыты мы презреньем,
князь земные, их глаза пусты,
а их столы обильны всяким хлебом,
за свой паек положат животы,
а наш кусок соленый им неведом,—
не откажи и Ты слезам моим,
не для себя ищущей Твоей поддержки,
истаяли деньки мои как дым
и кости выжжены как головешки,
не оставляй, прошу, мужей и жен
и огради детей Своей десницей,

отставь от тех, кто алчет, самогон,
а тем, кто выпил, дай опохмелиться
слезами их, и если грех наш весь
перед Тобой, Тебе метать и громы:
что со слезами мы посеем здесь,
потом с великой радостью пожнем мы.

ЗА СТРОКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ

648 г. до н. э. Затмение солнца.

Расцвет поэзии Архилоха.

Бикерман.

Хронология Древнего Мира

Опять эта зоркая злость
и этот простор подневольный,
упершийся в горло, как кость,
с поры предвоенной и школьной,
и прежде того — с вековой,
еще до рожденья рожденной,
запавшей двойной синевою
у глаз, как нуждою огромной.

Князь Игорь вступил в стремена,
но мгла ему путь преградила,
и черного дня глубина
предвестья дурные явила,
и срам он найдет, и полон,
но песней, как долгая рана,
на вещий взойдет небосклон
безвестный Соперник Бояна.

Спаситель судим и распят,
и темные низкие тучи
над Иерусалимом висят,
но гром загрохочет могучий,
и примет Он смерть, и опять
воспрянет как Дух, чтоб по праву
судить, и карать, и прощать,
и множить посмертную славу.

А там, за раскатом валов,
чей натиск ликующ и горек,
обломки каких катастроф
и взлетов увидит историк?—
где знать!— но из пропасти лет
всплывет за строкою Эпоха:
— Затмение солнца. Расцвет
поэзии Архилоха.

Какая тяжелая цепь!
Галера скрипит в сорок весел,
скрежещет, как утлая крепь,
судьба — и на гребень выносит,
чем круче волна — тем верней,
чем хлеще удар — тем чудесней,
и песня все кружит над ней,
как чайка над черною бездной.

Не наша с тобою вина,
тем паче не наша заслуга,
что нас обошли и война,
и плен, и большая разлука,
что этот простор не на нас
глядел, совмещая две точки,
что свет среди дня не погас
от бланка и вписанной строчки.

Но тот, кому Слово дано,
себя совмещает со всеми,
поскольку Оно зажжено
для всех, как и там, в Вифлееме.
И если ты встал до зари,
в пустой не печалься печали,
но, радуясь, благодари:
какие мы звезды застали!

Глаза и слепому даны,
но я не о тех, что глядели.
Какие мы видели сны!
Какие мы лжи претерпели!
И, может быть, некий поэт
отметит среди помраченья:
— Затмение разума. Свет
страдальчества и искупленья.



Так мстят разоблаченные кумиры.
...Еще толпясь, еще благоговя,
курсанты и они же конвоиры
державный прах несли из Мавзолея.

Тяжелый прах! Ломала строй охрана.
Карболкой пахла ссыльная могила.
Как говорили некогда, тирана
земля не носит. А земля носила!

В последний путь шагал он к свежей яме,
шагал, как ходят в гости на погосте,
шагал вперед ногами — сапогами,
надетыми на две берцовых кости.

А город спал, не зная, что в закладе
держало время камень за душою.
И опустили. И на циферблате
сомкнулись стрелки — малая с большою.

Так замыкался круг: и день вчерашний,
и завтрашний. И поминальным громом
куранты били с полунощной башни —
над городом, над площадью, над гробом...



Явление дьявола народу:
с утра долбил какой-то бур,
разрыли двор, пустили воду,
и — на полгода перекур!

Течет, как говорится, в Лету.
Вот мухи белые в окно —
белым-бело! Раскрыл газету —
и снова он: в глазах темно!

Там нефть горит среди океана,
тут план — и нет ничьей вины.
Все деятельней панорама
ударных строек сатаны.

О, ненависть, твои заводы —
за каждой клеткою грудной,
где токарь или царь природы
профит измысливает свой.

Прощайте, милые, навеки,
приюты ласточек и щук,
текли на север наши реки,
а завтра повернут на юг.

Стоят, как на мосту бараны,
две сверхдержавы у черты.
Ползут горячие барханы
в объятья вечной мерзлоты.

Конец ли наступает света,
заря ли новая встает:
летит кровавая комета
и в страхолесье гад ползет.

И, древнему доверясь Богу,
не ветвь поднявшему, а хлыст,
выходит с бомбой на дорогу
международный террорист.

Он тверд решимостью суровой,
но занесен незримый меч
и над его рукой, готовой
все разрешить или рассечь.



Стоит село
невесело.
Петух поет,
а народ не встает.

Ели, пили,
прибрать забыли,
а легли спать —
некому встать.
Кричит петух,
а народ-то глух,
хоть кричи, хоть вой —
ни души живой.

Черная корова
всех запорала.

Стоит дом,
ни души в нем.
Хаты, хаты.
Где вы тут, ребята?
Молчат хлопцы,
спит звезда в колодце,
а ударит ветер —
прохрипит как петел,
и на тыщу лет
ни эха в ответ.

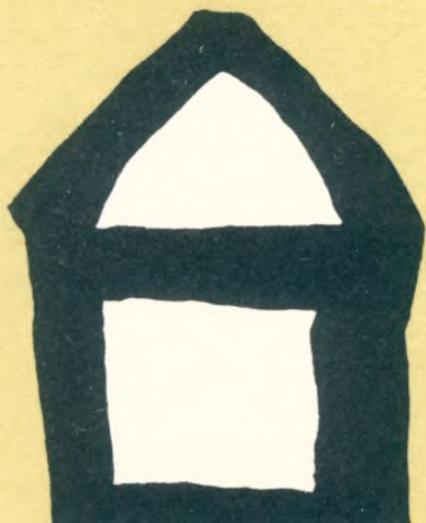
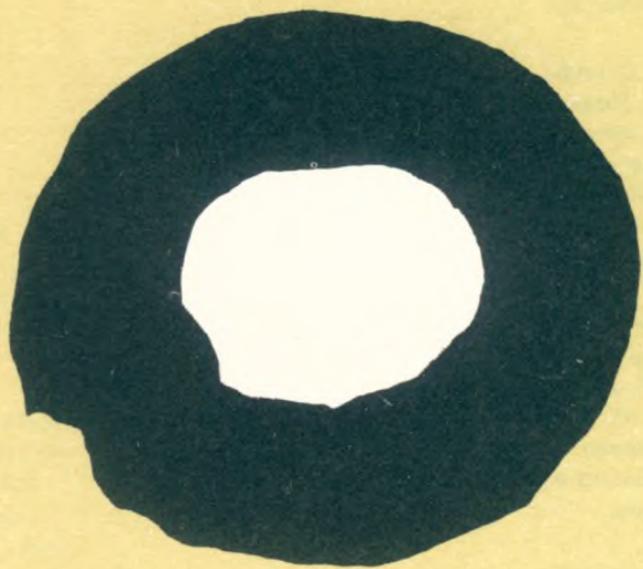
Черная корова
всех поколола.

Где ты, Степан,
Микола, Иван,
Ганка, Степанида?
Поля все светлей,
кличет Див с ветвей,
Дева ли Обида,
а тут панихида.

Который уж год
терн без вас цветет,
черешня да вишня,
а мовы не слышно.
Лишь звенит полынь
в червонную синь:
день-день...

Черная корова
весь мир поборола.

Амины!



ДОМ

А. Битову

Этот дом для меня, этот двор, этот сад-огород
как Эгейское море, наверно, и Крит для Гомера:
колыбель и очаг, и судьба, и последний оплот,
переплывшая в шторм на обглоданных веслах триера.

Я не сразу заметил, что дом этот схож с кораблем,
а по мере того, как оснастка ветшала с годами,
отлетел деревянный конек, и в окне слуховом
пустота засвистала, темнея в решетчатой раме.

Дымник ржавый упал, и кирпич прогорел изнутри,
и над крышей железной унылая выросла дуля.
И уже не садились погреться на край сизари,
не стучали крылом и не пели свое гуля-гуля.

А потом и крылечек не стало, и крытых ворот,
на которых, когда выезжала гнедая кобыла,
запряженная в розвальни, фыркал и дыбился кот,
и по первому свисту, как ветром, его уносило.

А потом и фундамент осел, и подался каркас,
обозначив эпоху упадка, в которую криво
он и вплыл, кособокий дредноут, пока не увяз
в переходном ландшафте, где кадки, сирень и крапива.

И весной, когда талой водою наполнился трюм,
то есть подпол, хотел я сказать, и картошка подмокла,
слух пронесся: на слом — я услышал за окнами шум
и не понял сперва, и протер запотевшие стекла.

Было утро апреля. Кричали на дубе скворцы,
так что падали сучья, стуча — и застыл, холодея:
если это не ветви трещат, а скрежещут венцы?
Неужели — в труху голубая твоя одиссея?

Время — странная вещь. Сам себе я кажусь стариком.
Был ребенком и мужем, любил, и чем старше, тем ярче
вижу все свои дни, как один, и по-детски, тайком,
как в замочную скважину пляюсь. Вольно ж тебе, старче!

Это как бы помимо меня своей жизнью живет.
Это в небо слепое летит обезглавленный петел,
с черной плахи сорвавшись, и бешено крыльями бьет,
и дощатые крылья сортиров срываются с петель.

Это в сумерках слышно жужжание майских жуков,
засыпающих в липах, и стрекот от душного сена,
просыхающего во дворе, и не счесть синяков
от ликующего кувыркания, и саднит колено.

Или гром прогремит, черви вылезут после грозы,
тучи птиц налетят, и замашут на них рукавами
огородные пугала, грозно тряся картузы.
Разве это расскажешь? кому? и какими словами?

Или все это сон?.. Ну так вот, порешили — на слом, а потом рассудили: кому он мешает? И к лету, почесав в коллективном затылке, решил исполком: а не проще ли сделать ремонт? и прикинули смету.

Да, забыл: этот дом был из бывших, за что, говорят, был милицией взят, перестроен на скорую руку, три угла под жилье, а в мясницкой устроили склад, а сначала холодную, а про хозяев ни звуку.

Это все предыстория, впрочем. Начни вспоминать — и не будет конца, а куда заведет, неизвестно. Дом как дом, три семьи. На широкую ляжешь кровать и не знаешь, куда повернуться: и колко, и тесно.

И еще не такое увидишь... У нас в городке поднимался над Вохной собор, возведенный на месте древней княжеской церкви, и звон проплывал по реке, где белье колотили и вслух обсуждали известья.

А еще я застал трубочистов, застал печников, за которыми, как за святыми, ходили легенды, городских пастухов я застал и последних коров, брадобреев надомных, в окне выставявших патенты.

Если вспомнили о печниках, воздадим и печи, как стреляла она берестою, как в день непогодный завывала, как выла ночами. Ау, рифмачи, не сыграть ли отходную нам и трубе дымоходной?

Я об этом подробно пишу, потому что пример
ни на что не подвигнет, как только внести в мортиролог
этот старопосадский уклад, да и самый размер,
пятистопный анапест, как сани, скрипуч и неловок.

А еще домовой. Как он в щелку за нами смотрел...
Не люблю я прошедшее время в стихах, но тетрадку
я мараю сейчас, и, быть может, какой-то пострел
проучить уже случая ждет, доставая рогатку.

Ан и вправду сказать, как собака, верчусь за хвостом,
а о главном боюсь... Я представил еще на вокзале,
а приехал к сестре и гляжу: да, узнаешь с трудом —
рубероидом крыт, два котла. А в воде отказали,

да и угол снесли. Двухквартирный, две мачты антенн
поднял к небу и дальше плывет, в облаках ли, в листве ли.
Если в бочке сидеть, я хотел бы не как Диоген,
а как юнга на мачте — и чтобы сирены мне пели.

Я люблю молодую удачу, хоть я у нее
не любимцем, а пасынком был, да и буду, пожалуй.
Ну а ты-то все шуточки шутишь? все ткешь суровье?
Ты одряхла, Итака моя, а глядишь молодежо.

Я люблю эти старые стены, и даже не их,
а суровую участь, которая связана с ними,
этот синий пронзительный воздух, толкающий стих,
зоркий промысел тех, кто блуждает путями земными.

Хорошо вечерами у нас. Выйдешь в темный простор
перед сном подышать и стоишь где-нибудь у сарая.
Вон упала звезда, а другая летит через двор:
не земляк ли, гадаешь, глазами ее провожая.

Надо завтра нарезать цветов и проведать своих.
А прохладно, однако... И все-таки невероятна
эта жизнь, если в корень глядеть. Каждый шорох и штрих.
Вот и дети уже подросли. Не твои. Ну да ладно.

Вот и дом наконец. Шелести же листвою парусин,
прозябающий прах, недалекая наша Эллада!
Ибо живо лишь то, что умрет, как сказал бы Плотин.
А другого, увы, не дано, да уже и не надо.



По гиблому насту, по талой звезде
найдешь меня там, где не будет нигде.

Есть дальняя пристань, последний приют,
где скорби не знают и мертвых не чтут.

Кто был для единого слова рожден,
пусть ветром и пеплом развеян, но он

как кочет туда безголовый взлетел,
а это, скажу вам, не худший удел.

СОДЕРЖАНИЕ

«Вдруг — в темноте — звук...»	5
«Сразу споткнулся о память...»	6
«Не к этой свободе тянусь...»	8
На ташкентской бойне	9
Кат в сапогах	11
Репетиция парада	12
«Ожесточенность и хандра...»	14
Общие стены	16
Голос за снимком	18
Двойник	19
Через двор	22
Однофамилец (Городская история)	25
«На ночной, на заснеженной улице...»	54
Махаробели	57
«И кафель, и паркет — а где уют?..»	59
«Пусть те, кого оставил Бог...»	62
Семен Усуд	63
О той земле	66
«На Каме-реке и на Белой реке...»	70
«Вот деревушка на краю оврага...»	72
«А в сумерках вдруг налетели...»	74
Послевоенная баллада	76
«Седой учитель начальных классов...»	78
Свои	81
«Не желудь по крыше, не мышь по стене...»	101
Из одной жизни (Пробуждение)	103

За строкой исторической хроники	109
«Так мстят разоблаченные кумиры...»	112
«Явление дьявола народу...»	114
«Стоит село...»	116
Дом	119
«По гиблому насту, по талой звезде...»	124

ЧУХОНЦЕВ Олег Григорьевич

ВЕТРОМ И ПЕПЛОМ

Стихотворения и поэмы

Редактор В. Пальчиков

Художник А. Семенов

Художественный редактор Е. Андреева

Технический редактор Н. Ганина

Корректоры В. Н. Дробышева, Г. А. Голубкова

ИБ № 5479

Сдано в набор 10.01.89. Подписано к печати 15.03.89. А 04163. Формат 70×108¹/₃₂. Гарнитура журн. рубл. Печать офсетная. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 5,6. Усл. краск.-отт. 11,38. Уч-изд. л. 4,73. Тираж 20 000 экз. Заказ 91. Цена 60 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Госкомиздат РСФСР
Полиграфическое производственное объединение «Офсет» Управления издательства, полиграфии и книжной торговли Волгоградского облисполкома. 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6

60 коп.